

ЯАН УНТ В ЛЕНИНГРАДЕ

Ключевые слова: Яан Унт, А. И. Доватур, А. И. Зайцев, ЛГУ, Тарту, Марк Аврелий, курсы, переводы, философия.

Автор рассказывает по собственным воспоминаниям о годах учения Яана (Вальтеровича) Унта в ЛГУ и о курсе «Греческой мифологии» А. И. Зайцева, как и о дискуссиях, возникших в связи с этим многолетним курсом. Описывается история подготовки к изданию комментированного перевода Марка Аврелия, вышедшего в серии «Литературные памятники» в 1985, а затем в 1993 г. В статье коротко указано на дальнейшую деятельность Я. В. Унта в Тарту, где его преподавание сыграло значительную роль в оживлении классических штудий Университета, который в начале XIX в. помогал становлению классической филологии в Петербурге.

A. K. GAVRILOV

St. Petersburg Institute of History of the Russian Academy of Sciences

JAAN UNT (1947–2012) IN LENINGRAD

Keywords: Jaan Unt, A. I. Dovatur, A. I. Zaicev, Tartu, Leningrad State University, Marcus Aurelius, philosophy, translations.

These are recollections about the late Estonian scholar who studied classics at the Leningrad State University in middle 1970ies. The author tells about main teachers of Jaan Unt, professors A. I. Dovatur and A. I. Zaicev; it was in those years above all the course of Greek Mythology given by A. I. Zaicev (1926–2000) which provided both knowledge and techniques of interdisciplinary analysis and was therefore substantial for scholarly maturity of Jaan Unt as well as many other students. On returning home Unt translated some medieval works for the Estonian Academy of sciences and taught at the University of Tartu increasingly more courses in different philological disciplines connected with the study of the ancient world, even if his personal scholarly interests were dedicated chiefly to Greek and Roman philosophy. He took important part in the making of the translation and commentary of Marcus Aurelius in Russian (1985¹, 1993²) and made pioneering translations of important philosophical works from Greek and Latin into Estonian. The work of Jaan Unt, consequently, connects in some way the present and future classical studies in Tartu with those in St. Petersburg.

Похоже, что Яан (Ян Вальтерович) Унт (1947–2012) был в современном Тарту тем, кого в старину с красивой гиперболой называли бы *praeceptor Livoniae*. Он располагал знаниями энциклопедической широты, а главное — основательности; не менее важно, что он стремился всячески укрепить их в своем родном — и славном — университете. Об этом лучше, чем мы здесь, знают его ученики. Они уже кратко об этом рассказали¹; расскажут, конечно, и подробнее². А поскольку в 1970–1990 гг. Унт тесно был связан с ленинградской кафедрой классической филологии, постараемся осветить обстоятельнее эту часть его научной биографии, чтобы этим послужить тому делу, которому служил он сам.

Помню первые впечатления от Унта — студента кафедры классической филологии Ленинградского университета в начале 1970-х. Он уже немного поучился в Тарту и отслужил в Советской армии; при поступлении в Ленинградский университет ему было столько лет, сколько нашим выпускникам бывало при окончании. Это, однако, был не великовозрастный человек, какие встречались в те десятилетия, когда студенты мужского пола все еще попадались на филфаке, а граждански и академически зрелая личность. Помню и то, как во время одной из последних аттестаций студентов на кафедре — это было в 1975 или 1976 г. — Аристид Иванович Доватур (он уже не был заведующим, но его еще спрашивали первым при кафедральных обсуждениях) давал отзыв о выпускаемых тогда студентах классического отделения: «Что касается Унта, тут все ясно: в будущем это, конечно, видный деятель эстонской культуры». В устах Аристида Ивановича такое звучало необычно. Студентов, особенно хороших, на кафедре мы хвалили редко, чтобы не возникло впечатления, будто одни неправильные люди одобряют других, таких же неправильных. А еще была цель, чтобы, неровен час, не явилось вдруг подозрение, будто кто-то затеял оставить самостоятельно мыслящего человека при кафедре. Аристид Иванович знал все это, но была у него и другая причина для сдержанности: относясь к младшим дружелюбно, он

¹ Краткий некролог памяти Я. В. Унта: Janika Päll: In memoriam Jaan Unt (7.11.1947–12.01.2012) // Keel ja Kirjandus. 2012. № 2, 157–159 (Я. Пель представила петербургским коллегам англ. перевод этого текста).

² См. настоящее издание: *Пель Я.* Яан Унт. С. 422.

остерегался всяческого фимиама, считая его особенно опасным для молодежи.

В многолетнем мифологическом семинаре А. И. Зайцева, где ни одна лекция *ни разу* не была повторена, Унт всегда сидел в первом ряду — приходил, видно, немного заранее и перелистывал старые записи, не делая ничего, что привлекало бы к нему внимание окружающих. Во всем его облике чувствовалась независимость от чего бы то ни было; не знаю, развилась ли в нем эта черта под влиянием стоиков, или то была некая квинтэссенция эстонского характера, но и независимость, и уважение к Стое были, несмотря на его замкнутость, многим известны. Просто так Ян Вальтерович не разговаривал; необходимы были веские причины, побуждающие его что-нибудь сказать.

Учился Яан в Тарту в хорошей школе, укрепившей в нем стремление к образованию. Развивал он и тело — занимался акробатикой; не обладая большой физической силой, он был жилист и вынослив. Догадываюсь, что изначально он хотел знать, чтобы *мыслить*, но решил начать с *истории* мысли, а значит, — с античности, которую следует признать самой разработанной областью человеческой культуры (хотя этот ход мысли выдает скорее природного филолога, чем философа, мы, конечно, прощаем нашему собрату это решение). А раз так, нужно было учить древние классические языки. Старорежимная «Этимология греческого языка» Якова Мора некоторое время бытовала у советского солдата Яана Унта в сапоге. Занимаясь в армии связью (это многих славных путь: взять хоть дешифровщика микенского письма Майкла Вентриса), Унт зубрил в свободные минуты древние языки, а для отдыха читал детективы по-английски, когда азарт заставляет забыть об усилении. У Яна Вальтеровича всегда заметен был голод по новому чтению: лишенный его, он скучал не за книгой, а без нее.

Когда пришло для его курса время первых научных работ, а потом и дипломной (1976 г.), стало известно, что Унт пристально занимается Марком Аврелием. И тут совпало так, что со школьных лет мне хотелось попробовать себя в переводе. В 1960-е гг. я участвовал в английском переводческом семинаре И. А. Лихачева; наблюдал, как переводами позднегреческой прозы занималась С. В. Полякова и, наконец, имел счастье обсуждать с А. Н. Егуно-

вым его платоновские переводы. Кроме того, ради исследования слова μητραλοίας ('тот, кто колотит мать' или 'матереубийца' — удивительная полисемия) мне случилось заглянуть в текст Марка Аврелия; я зачитался, и записки императора овладели моим стилистическим воображением. Думаю, что тогда очаровала меня та самая интонация «мудреца», над которой я позже стал посмеиваться как над призраком некоего Марка-Экклезиаста, с барственным упоением возглашающего, что всё и вся — тлен. Исходя из этого не совсем точного впечатления, я почувствовал, что Марк Аврелий это то самое, что хочет выразиться через меня.

Читая императора по-гречески, я, конечно, не мог не заметить, что Марк в своих стоических экспромтах последовательно пользуется техническим языком Стои. Значит, будет хорошо, если будет кто-то, кто внятно объяснит этот философский язык мне, а уж мое дело будет подбирать подходящие русские выражения и находить тон. А значит, предпринимая русский перевод текста, было естественно предложить Яну Унту делать комментарий — было ясно, что мы можем восполнить друг друга. Так оно, кажется, и вышло: в разное время каждый из нас в той или иной форме помог другому постигать этот текст, который словно просился в «Литпамятники». Эта серия тогда процветала; там было и античное, и всемирное; и художественное, и научное; она была и солидной, и либеральной; не только чтимой, но и читаемой. Аристид Иванович благожелательно присоединился к этому предприятию как наш общий учитель и человек, хорошо известный редакторам серии.

От 1960-х гг. мне в наследство от Ивана Алексеевича Лихачева досталась дружба с Алексеем Матвеевичем Шадриным, переводчиком с новых европейских языков, с которым мы сблизились в эти годы. Он и стал, сколько я знаю, определяющей фигурой из тех, кто предложил мой, как мы теперь говорим, *проект* разносторонней обработки «Размышлений» Марка Аврелия в «Литпамятниках». Заявка была представлена редакции, и мы с Унтом попали в эту авторитетно-обаятельную серию. В то время напечатать книгу в СССР было много труднее, чем теперь, когда платой за большую свободу публикации бывает кустарность книжной продукции и разруха в обороте книг.

Пока я, заручившись согласием Я. В., устраивал договор с «Литпамятниками», сам он занимался средневековой латинской «Хроникой». Конечно, мог бы ленинградский филфак придержать у себя — хотя бы пригласить в аспирантуру — такого серьезного выпускника, как Яан Унт, что поспособствовало бы ему и благотворно действовало бы на нашу кафедру. Однако не лишенный смысла принцип «кадры решают всё» применялся в эпоху застоя в том смысле, что многообещающие люди опасны. Унт уехал в Эстонию. Об этом времени могу рассказать здесь его словами:

11.12.76. Dognati.

Александр Константинович!

Работаю старшим лаборантом в секторе истории периода феодализма Института истории АН ЭССР, с правом работать дома, т. е. в Тарту (Институт сам в Таллине).

Ближайшая задача: перевести на эстонский язык хронику Дионисия Фабриция (католик в г. Вильянди, Fellin, написал в начале 17 в. *Livonicae historiae compendiosa series*) и отрывки, относящиеся к Эстонии, из Саксона Грамматика (*Gesta Danorum*). Кроме того, бывают иногда всякие случайные задания (статистика, вычисления, топонимика etc.). По совместительству преподаю в Сельхоз. академии латинский язык ветеринарам (40-часовой годичный курс, 8 групп).

Статья, боюсь, сейчас не получится. Почти перестал чувствовать себя «классиком». Однако Ваше письмо повлияло как *stimulus*. Восстановил отношения с Марком Аврелием. Возможно, что до весны смогу достать издание Фаркухарсона³.

Вероятно, нужны и паспортные данные [для договора с Литпамятниками — А. Г.]: XII ФЯ, № 644954, выдан ОВД Тартуского Горисполкома СДТ ЭССР 23 ноября 1970 г., холост, детей не имеет.

Может быть, где-то в середине января удастся провести неделю в Ленинградских библиотеках. А пока Вам, а также Аристиду Ивановичу и Александру Иосифовичу *bona omnia prescor*.

Яан Унт.

³ Позже Я. В. выяснил, что если не транслитерировать, а передавать звучание имени одного из лучших британских комментаторов Марка Аврелия, то правильнее будет: Фаркерсон.

Письмецо русское, хотя в ту пору Унт чаще писал латинские открытки — на языке не только великом и могучем, но еще и всеобщем. Тогда же распространилась латинизация его имени: *Lupus*, или *Lykanthropos Tartuensis* (похоже на создание Аристида Ивановича, исходя из значения эстонской фамилии).

На фоне гниения официальной идеологии (я говорю о 1970-х гг.) чувствовалось, что складывается некий канон властителей дум, которые притязали на определяющее влияние не только в части общественного мнения, но и в науке. В него вошел А. Ф. Лосев, опиравшийся в своем философствовании на античную мысль и культуру. Структуралисты, особенно те из них, кто разрабатывал семиотическое направление, касались Унта еще определеннее, потому что его родной университет стал одним из центров московско-тартуской школы во главе с Ю. М. Лотманом. Из филологов-классиков к этой дружине отнесена была связанная с «новым учением о языке» О. М. Фрейденберг. В целом, рядом с постепенно угасающим официозным насилием нам грозило теперь засилье норовистого общественного мнения, которое не прочь было ворваться и на университетские кафедры. Как-то сбоку с этим новаторством увязывалось имя С. С. Аверинцева, который, являясь великолепным словесником-эрудитом, не зря, наверное, заговаривал о некоей новой научной парадигме, которую сам же называл *инонаукой*. Все это были люди богатых знаний, большого прилежания и — что было решительно важно в ту эпоху — свободолобивые. Это давало их мнениям о научном методе больше влияния на общество, чем выпадает на долю специалистов.

Между тем уже с конца 1960-х гг. Александр Иосифович Зайцев, в рамках своей все шире разраставшейся академической деятельности, начал «читать» лекции по *греческой мифологии* — перед ним лежали выписки и опорные цитаты, остальное всегда было импровизацией. Последовательный анализ теорий, возникших вокруг мифа об Эдипе, несколько лет был центральной темой, привлекал необычно много слушателей и убеждал их в том, что в каких-либо новых больших методологиях сверх общего историко-филологического метода, давно выработанного европейской и успешно подхваченного русской дореволюционной наукой, решительно нет нужды. Иначе говоря, чтобы освободиться от пут

идеологии, надо было прежде всего вернуться к неидеологизированному знанию.

Настроение, сложившееся постепенно в зайцевских семинарах (кроме мифологии это был и платоновский семинар, и разнообразные курсы по традиционным филологическим дисциплинам), не было враждебно примечательным людям, которых общественное мнение превращало в вехи некоего нового, как бы спасительного, знания; нам было важно, чтобы идеал, почва, обязанная тысячелетней традиции классической филологии, не заросла ни первыми, ни какими-нибудь последними сорняками. Если новые идеологи хотели заменить постылую официализацию чем-то более свежим и тонким, то мы хотели, чтобы от идеологии вообще не осталось бы следа. Меня, в частности, это занимало не ради себя только, но и как молодого преподавателя. Учить нужно лучшему из того, что знаешь, и так, чтобы это увлекало молодежь — иначе в преподавании нет никакого смысла.

Напор антифилологических идей мы выдержали, проведя ряд показательных экзекуций через коллективный разбор избранных более или менее наугад достижений «модных чудаков», в чем сильно участвовали ученики Александра Иосифовича с исторического факультета, объединенные тогда в научном кружке при кафедре древней истории. Получилось занятно: историко-филологическое возмездие не свершилось бы, кажется, если бы филологи остались при своих галантерейных безделушках, а историки — с их унылым москвошвеем. Зато вышедшие навстречу друг другу мощный духом филолог-энциклопедист и толковые молодые историки сумели окопаться на кое-как занятых университетских позициях и несколько лет держать круговую оборону, отбиваясь равно от казенного начетничества и от либеральной отсебятины. Восстановить гармоничное антиковедение, дело, конечно, далекое, но предпосылки для этого были в нашем кругу созданы.

Унт участвовал в этих необычных акциях ленинградского филологического самоопределения; я убежден, что как на всех нас, это возымело и на него некоторое действие. Помню, как Сурен Тахтаджян разбирал аргументы О. М. Фрейденберг в статье «Въезд в Иерусалим» [Фрейденберг, 1978, с. 491–531] и то, сколь неожиданные преобразования выпадают по милости автора на до-

лю осляти. После ряда смелых прозрений кузина Б. Пастернака приходила к выводу: «Итак, сперва осел есть спаситель, дальше сидящий на осле есть спаситель; еще дальше самый акт сидения на осле является спасением» [Там же, с. 522]. «Получается, — сказал кто-то, — что, по Фрейденберг, Иисус... едет на самом себе». «Нет, — возразил Унт — *он едет на своем смысле*».

Фигура А. Ф. Лосева для Унта, как человека, в центре внимания которого стояли все-таки именно интерес к философским идеям, изучаемым с помощью филологических приемов, была, наверное, еще занимательнее. Отрывочно-христианская полемика московского новоплатоника поражала Унта: неужели и вправду стоик не что иное как «бесчувственное бревно»?⁴ Да уж так ли — со всеми его различениями, правилами, усилиями самовоспитания — бесчувственное? Унт приглушенно, как положено стоикам, смеялся. Для Унта, конечно, критика Лосева была привлекательна и тем, что при нем отмежевывались от этой «последней» русской мудрости сами же русские соученики-универсанты. Между тем петербургская классическая школа была когда-то тесно связана с Дерптом — например, через выучившихся там М. С. Куторгу, А. Ф. Энмана, В. К. Мальмберга, Е. М. Придика и других. А потому Унт, расходясь с ново-тартуской семиотикой, оказывался в лоне дерптско-петербургской, а в некотором роде даже старо-дерптской школы.

Его будни в эти годы можно себе представить из еще одной его открытки, на этот раз из места, означенного им как *Regiomontium* (08.04.1977):

Collegae optimo salutem. Статья к сожалению не получилась. Начал, но закончить так и не успел — неожиданно заставили совершить паломничество на могилу Канта — т. е. послали на 2 месяца в армию на сборы. Кроме того, задержала недоступность собрания фрагментов стоиков. Единственный экземпляр, имеющийся в Эстонии, пока еще в руках проф. Мазинга, и вторично беспокоить его не осмелился. Придется ждать, пока закончит свою статью. Но до конца мая

⁴ Мы, правда, в отличие от молодых помощников Лосева, не знали тогда, что большая часть его писаний несколько менее интересна, чем непрерывный поток сознания этого странника философствующей филологии — поток, способный поразить своим напором в течение столь продолжительной жизни. Но как же это положить в *основу* каких бы то ни было знаний?

вынужден довольно бессмысленно сидеть здесь. Взял с собой только одну книгу, чтобы не было другого выбора, как прочесть ее, на этот раз учебник санскрита. Однако отвлекаюсь шахматами.

У меня к Вам просьба. Сообщите, пожалуйста, если в БАН поступают 2-ой том (Commentarii) к фрагментам Посидония (Эдельштейна). Всего Вам хорошего. *Bona omnia magistris meis precor.*

Lykanthropus Regiomontius

Наша работа над Марком Аврелием пришлось на пятилетие 1977–1982. Этот период тогда казался долгим, а глядя из сегодня, был не только существенным для филологического развития каждого из нас, но и по-своему стремительным. Это, видно, и были, по Эпиктету, наши Олимпийские игры — те самые, когда важен не успех, а участие. Сначала мы занялись широко понимаемой нами стоической терминологией с обсуждением смысла и передачей небезразличных ассоциаций. Потом обсуждалось толкование текстов и выявлялось то, что требует комментария. Затем редактировали то, что получилось, нажимая на рекуррентность (пословно-статистическое соответствие) в переводе: в *принципе* стараться не переводить то, что одинаково в оригинале, различными способами. Несколько раз мы съезжались в Ленинграде, у меня на даче или в Тарту.

Когда стало ясно, что нужно не писать наброски, а работать «завершительно» (*καταληκτικῶς*), я предпринял волевые меры к себе, а потом и к Унту — решил упрятать его зимой в Колосково, что на 78 км дороги на Приозерск. Отправляемся поездом туда. Зима в белой горячке от лютого мороза. Мы редактируем Марка Аврелия, а вагон все как-то пустеет. В окошке — все те же снежно-лунные перелески, все волшебно, но как-то... совсем незнакомо. Наконец мелькает догадка, и на ближайшей остановке мы выскакиваем из поезда. Ни души. Среди величественной природы утлый листок с объявлением о поездах. Время точно позднее, но часов у нас нет. Объявлены какие-то перемены на последние дни. А день какой сегодня? Не знаем. Холод завораживающий. Остается ждать поезда, если вдруг посчастливится. Унт, закуривая и согревая руки спичкой, говорит: «По меньшей мере, узнаем, какой сегодня день». Последний поезд явился, по счастью, скоро, — правда, в Приозерск. Доехали и продолжали редактировать, сидя в зале ожида-

ния. То же на обратном пути ранним утром, когда уже волшебства не было, а только холод; так и на даче, пока немного обогрели комнату печкой.

Там Унт с неделю прожил, как Меншиков в Березове: без детей, зато благотворно; на основе выработанного им в предыдущие годы по ходу работы над комментарием он выстроил текст своей отличной статьи о жанре «Размышлений». Важность этой его статьи для перевода я оценил по ходу работы. Текст у меня назван «Размышлениями» лишь в качестве дани традиции. По существу — точнее, по Унту — надо было текст Марка называть по-деловому: «*Записи для себя*», или просто: «*Моё*». Ведь это, собственно, не название, а пометка на свитке или кодексе и не литературное произведение, а дневник стоической работы над собой литературно одаренного человека.

Завершая работу над Марком, живали трудолюбиво и беспечно. На даче Яан подтягивался на турнике: тогда еще не исчерпаны были физические достижения его юности. Побудка производилась номерами из Марка Аврелия, когда со стуком в дверь выкликался номер, вроде: «*Пять, один*» (V, 1: «*Поутру, когда медлишь вставать, пусть под рукой будет...*»), на что чуть хриплый голос отвечал «Я сейчас...» и т. п. Там же читали мы рукопись Зайцева перед обсуждением «Культурного переворота» на кафедре 27 июня 1980 г., которое отодвинуло публикацию смелой книги на пять лет: Яан сидит среди сосен с машинописью, а вокруг гуляют солнце и ветер, сиюминутные и вечные как ум эллинов.

Стойей мы любовались как крепко обдуманной и как-то особенно красивой системой, в которую увлекательно вглядываться. Хотя Унт относился к стойкам серьезно, его веселило, когда мы применяли к родимому душегубству додуманные до крайности стоические положения о всеобщем родстве, *συνγένεια*, с одной стороны (ср. VII, 22; XI, 9), и о невольности погрешений, с другой (*ἄκοντες ἀμαρτάνουσι*: IV, 3, 4; VII, 22). Получалось, что «родной человек ошибся», когда смертельно ударил вас, оклеветал и т. п. «У-ху-ху», — тихо смеялся он. Забавляла нас и такая стоическая цепочка: «мудрецы — которых нет — совершенны во всех отношениях»; опасность выводов отсюда заметил еще Александр Афродисийский (Chrysipp. SVF III, 658 Arnim), а Плутарх обыграл

(*ibid.*, 662)! В быту, впрочем, мы были (это моя оценка, не знаю, согласился ли бы с нею Я. В.) скорее эпикурейцы, не в «догматическом» и не в обывательском, а в некоем среднем философском смысле: мы ценили прежде всего дружбу, умеренные радости и критичную веру в знание.

Мне в свою очередь нравилось бывать в Тарту на Эмайыэ; в адресе употребляется, как во многих других языках, родительный падеж, а в именительном река зовется Эмайыги, она же Омов(ы)жа русских летописей, а по-немецки Эмбах, где когда-то нашел свой конец великолепный филолог Людвиг Мендельсон. Квартира Унтов — часть этажа небольшого городского дома; неподалеку начинались уже поля. Мы занимаемся. Через приоткрытую дверь мать Я. В. говорит тихо: «Ян...» и еще два-три слова; это бывало сообщение о том, что ученые мужи могут пообедать в духе стоического *безразличия*, *ἀδιαφορία*: без чревоугодия и без убожества. Дверь в доме никогда не хлопала: эстонцы думают вперед, а не задним умом, как свойственно нам.

Однажды в рождественский вечер в Тарту — приезжать я мог только, когда семестр кончался, — посетили мы празднично-суровую лютеранскую службу, а после этого пошли на кладбище, где происходило нечто, напоминающее семейственное поминовение, с одной стороны, и немую демонстрацию, с другой: сотни, если не тысячи свечей зажглись у могил, среди снега и тишины. Зримые в праздничной темноте свечи и невидимые, молча стоящие люди! Ощутим был народ, объединенный общей памятью и общим чувством. Чувствовалась сдержанная вера в будущее и знание того, в чем они могут доверять друг другу. Это было внушительно, хоть и не внушало оптимизма по поводу наших домашних дел. Вспомнилось, что о солидарности эстонцев рассказывал нам Аристид Иванович, исходя из своего лагерного опыта: там про это знали.

Озабоченность судьбой Эстонии была понятна. Уже поэтому, оказываясь в океане кириллицы, Унт хотел писаться не Ян (как пишут в духе русского алфавита), а Яан, что ближе *транслитерирует* эстонское написание Jaan. Страх за судьбу своего народа — страх исчезновения — Я. В. выражал когнитивно: «Жаль, чтобы вместе с языком пропадал кусочек опыта человечества». Любовь к родине и ее культуре сказывалась у него во всем — к счастью, уже в на-

чале 1980-х гг. он мог по праву гордиться новой библиотекой Тартуского университета. Уж как хороша была старая, романтическая Дерптская библиотека в Домском соборе на холме Тоомемэги (теперь Музей университета) с милым, как и великим, всебалтийским Карлом Бэром, однако новая библиотека обращала на себя внимание большей современностью и академическим комфортом. Унт с удовольствием водил туда и помогал устраиваться там для чтения на несколько дней. Познакомил и с Пэетером Олеском, старым приятелем, который стал директором этого достойного учреждения и, как потом мы увидели, умел ценить Унта. Помню, как поражало, что имевшаяся часть *Handbuch der classischen Altertumswissenschaft* стояла в открытом доступе, а к уходу из библиотеки призывал мелодичный звоночек. С Хайном Танклером, историком Тартуского университета, с тех пор завязалось сотрудничество — менее обширное, чем хотелось бы, и все-таки плодотворное [Tamm, Tankler, 2004, S. 22–59]; его великолепная биографическая анкета для словаря университетской профессуры производила впечатление своей обдуманностью.

Я. В. ненавязчиво, но последовательно знакомил своих ленинградских друзей с лучшими произведениями эстонской литературы в хороших, иногда прямо отличных русских переводах. Неленивый, но нелюбопытный, я тем более ценю то небольшое, с чем мне случается ближе освоиться. Могу сказать, что это произошло с поэзией Бетти Альвер. Личное знакомство с эстонскими интеллектуалами из друзей Унта (как и у нас, это были всё истопники да лесники) помогало понять то, что было так запутано советской идеологией, что она сказывалась и тогда, когда мы ее чурались.

Значительным эпизодом в знакомстве с тартуской сценой стало знакомство с Уку Мазингом. О Мазинге я слышал от Исидора Геймовича Левина, у которого в начале 1960-х прослушал курс *Deutsche Volkskunde* — единственный, сколько я знаю, курс по-немецки на ленинградском филфаке той поры [Gavrilov, 2010, с. 336–340 (русс.)]. Надо сказать, что это был и единственный раз, когда Исидор Геймович преподавал в ЛГУ, если не считать еще одного семестра для стажировавшихся на филфаке учительниц немецкого языка. От Левина я и услышал о его учителях в Тарту конца 1930-х гг., когда он учился у великого Вальтера Андерсона

и у молодого тогда Мазинга, который вскоре спас его во время немецкой оккупации⁵.

Неудивительно, что выстроился четырехугольник: Унт и Мазинг в Тарту, а мы с Левиным в Ленинграде. Я рекомендовал Унта Левину, Левин меня Мазингу, к которому, наконец, в Тарту привел меня Унт. Разговор мне запомнился. На прощанье Мазинг сказал мне: «Arbeiten Sie so viel und so gut wie Sie nur können». Внимание ко мне названных трех тартусцев способствовало моему внутреннему укреплению. Позже Унт много участвовал в попытках вернуть родному университету Мазинга, которому после войны так и не довелось войти в университетскую аудиторию — в этом смысле судьба наших «реабилитированных» была все-таки лучше. В Эстонии политическое ущемление было как-то последовательнее, чем у нас. Надо же было, например, почти уничтожить классическую филологию там, где когда-то взращивали будущих профессоров прочих российских университетов [Schmid, 1881, S. 136–166]! Обратим внимание на то, что сам Унт, обучающийся в Ленинграде в последней трети XX в. — это же зеркальное отражение того, что было в первой трети XIX с «профессорским институтом» в Дерпте!

Позже меня приглашали писать для сборника в честь Мазинга, но я не сумел этого сделать, так как не справлялся с уже взятыми на себя обязательствами. 16 июня 1984 г. Унт писал:

«Festschrift уже печатается (на машинках, естественно и к сожалению)⁶; жаль, что не успели. Сам написал о лектóv, однако получилось поспешно и не самым лучшим образом, хочу доработать, дополнить и куда-нибудь послать еще».

Разговоры с эстонскими друзьями Унта многое для меня проясняли. Одному из них я сказал: «Мы всё произносим междометия о нашей жизни, но как-то не слагается ни одной фразы». — «А знаете, почему? — живо откликнулся он. — Если вы скажете фразу,

⁵ За спасение Левина — Мазинг и его жена долго прятали его у себя на мызе от нацистов — имя этих людей поселилось на Аллее праведников в Иерусалиме, Йад-ва-Шем № 1561.

⁶ Это намек на то, что издание в честь У. Мазинга все еще вынужденно самиздатское.

вам надо будет действовать». Вот и с Унтом мы вели разговоры не столько политические, сколько политологические, стараясь развиваться на подножном, так сказать, корму. Особенно, как помню, вглядывались мы в понятие *равенства*, в котором признавали нечто завораживающее. Глядя на это издали, вижу, что в Эстонии я в ту пору избавлялся от политического инфантилизма, присущего многим русским в моем поколении.

Понятно, что наше культурное взаимодействие выразилось и в передаче в разных направлениях рукописей — старых и новых. Однажды Я. В. привел ко мне русского, который передал мне рукопись стихов одного из репрессированных Лихачевых⁷. В другой раз я пробовал устроить машинопись детской книжки моего университетского приятеля Федора Б. Чирскова (сюжет развивался вокруг молитвенника Марии Стюарт). Пристроить эту — приятную, как мне казалось — вещицу в эстонское издательство не удалось, а за дальностью расстояний она потерялась из виду; когда друзья издавали небольшое по объему наследие Чирскова [Чирсков, 2007], оказалось, что тот экземпляр оставался единственным: рукописи, может быть, не гоят, зато очень легко теряются.

В Я. В. пленяла неколебимая преданность знанию. Вечно ему хотелось новой ученой литературы, и читал он не из чувства долга перед наукой, а из потребности как-нибудь подпитать свое знание. Если во мне от собираемых отовсюду книг до последних пор жила обманчивая радость, что теперь-то уж точно прочту, то у Я. В. в его комнате на Эмайыэ кресло стояло к книгам спиной, «чтобы не видеть, сколько не читал».

В оценке получаемых на рассмотрение соображений Унт был терпеливее и строже многих из нас. Когда я, восстававший против отыскивания сходств мимо серьезных различий, почитал что-то о буддистах и нашел, что это до невозможности похоже на стоиков, Унт выслушал внимательно и выразился так: «По-моему, ничего общего». Я с интересом слышу теперь, что у Я. В. была эстонская рецензия на «Культурный переворот» А. И. Зайцева. Было бы интересно увидеть перевод этого отклика — почти наверное это не

⁷ Ознакомившись с ценной машинописью, я передал ее знатоку славянских рукописей и родственнице поэта — О. П. Лихачевой, бумаги которой после ее кончины попали в РНБ.

только дань уважения к учителю, но и плод вдумчивого критического рассмотрения⁸.

Любопытно было знание языков у Я. В. Если Пауль Аристэ, на которого он мне как-то указал на улице (где у нас такое *monstrari digito?*), знал 100 языков, Мазинг, говорят, 65, то о Вальтере Андерсоне с его 40 языками, с которых он способен был реферировать произведения фольклора, как-то уж неловко и говорить. Должен сказать, что я никогда не слышал, как Унт говорит на иностранных языках, кроме русского, которым он, надо сказать, овладевал с годами все полнее. При этом мне *никогда* не доводилось видеть, чтобы он не понимал чего бы то ни было на каком бы то ни было из языков, с которыми приходится иметь дело филологу-классику. А он изучал и не такие! Видно, что читать и понимать он мог на дюжине языков или более того. Выше я привел письмо, где вскользь назван учебник санскрита. Случайно слышал я, что он осваивал не только финский (кажется, довольно основательно), но и венгерский. В этом балтийская особенность: когда знание двух, а то и трех языков основано на общенародной диглоссии, то дальше в этих кантонах природных лингвистов нетрудно в желаемой степени освоить столько, сколько будет нужно. Хотя Унт не показывал особенно виду, он принадлежал к этой породе. Он и молчал на разных языках; если коэффициент разговорчивости иной раз невыгодное соотношение мысли и говорения, то у него было наоборот. Напоминая этим А. И. Зайцева, он не считал, что иногда приличествует говорить что-нибудь исключительно из чувства приличия — это правило гуманное, но оно порождает уйму излишних, а иногда и в соблазн вводящих речей.

Могу ошибиться в оценке, но у меня сложилось впечатление, что в области познания Унту свойственна была не столько страсть к новаторству, сколько выработка из общего научного запаса, созданного людьми разных времен, поколений, наций, возможно полного и надежного знания. Между тем как раз у людей

⁸ О. И. Зайцева, с помощью учеников А. И. Зайцева приведшая в образцовый порядок его обширный архив, сообщает, что в журнале «Радуга», или *Vikerkaar*, выходившем одно время как в эстонском, так и в русском варианте, есть беседы Я. Унта по мотивам книги А. И. Зайцева о «культурном перевороте» [Радуга. 1986, № 4. С. 74–77; № 6. С. 77–80]; сохранилась и благодарственная реплика автора книги Я. В. Унту.

1960–1970-х гг. был культ нового, по всей видимости, связанный с желанием через это новое то ли откреститься от прошлого, то ли особенно ярко заявить о своем присутствии в настоящем. Сказывался сциентизм: знание — сила; настоящая наука, в новациях, которые неоспоримы и необоримы. В этом, пожалуй, что-то есть, но ведь не надо забывать и то, что знание *в целом* выше одних только новоприобретенных знаний как по объему, так и по общей значимости. Унт и в этом оказался опять же больше европейцем, чем многие из нас! Другое дело, что в нем — изредка — проявлялась какая-то заинтригованность оккультным, литературой, отражающей состояния измененного сознания; притом речь шла даже не о шедеврах вроде Де Квинси, а о чем-то менее притязательном. Я простецки, *unus multorum*, считал (и считаю) это нездоровым; на оккультизм мне и обскурантизма не жаль!

Я не говорю о характерном для Я. В. постоянстве в настроении, не говоря уж о всегда сдержанном выражении чувств — чего ждать от человека, пережившего сильное влияние стоицизма. Людей он не обсуждал, равно как не интересовался их пересудами — это стоическое правило соблюдалось им свято. К учителям и коллегам держался ровного и уважительного отношения. Меня, например, причислял к учителям, но я всегда понимал, что на деле важно было то, что мы учились друг у друга. Считал ли он себя пробивающимся к стоицизму (то есть «продвигающимся», *προκόπτων*), я не знаю — так и не успел я задать ему Gretchenfrage на этот счет. Знаю, что он хорошо чувствовал иронию, отношение к которой у стойков довольно запутанное. Помню его живой рассказ о сценке из кафедральной жизни, когда одна ученая дама при студентах, готовящихся к экзаменационному ответу, начала сердобольно расспрашивать А. И. Зайцева о жизни его семейства, о том, здоровы ли дети, а если болеют, то чем именно и проч. На это последовал спокойный, обстоятельный и предельно внятный ответ, что привело сидевшего тут же Унта в редкий для него восторг. «Это была совершенная ирония», с восхищением повторял он, не поведший, конечно, бровью, пока шел этот философский урок.

Когда наш «Марк Аврелий» вышел первым изданием (1985, второе издание — 1993), это было немалой удачей и для меня, и для Унта, которому русское издание *Размышлений* с его участием спо-

собствовало еще до выхода из печати (рукопись в 1981 г. была уже готова и долго лежала в издательстве «Наука»); иначе, наверно, ему было бы труднее опубликовать в Эстонии аналог этой книги, сделанной всецело им самим — эстонский Марк вышел уже в 1983 г. (Marcus Aurelius. Iseendale. Tõlk Jaan Unt, 1983). Дорога переводов на эстонский теперь ему открылась, — впоследствии ему не мешали трудиться и над другими произведениями греческой мысли, никогда еще не переводившимися на эстонский, что гораздо труднее, чем сделать поновленный перевод на язык, на котором это уже делалось, иногда и не раз.

С этих пор мы стали видеться реже. Жена моя пошутила: «Эстония еще не отделилась, а Унт от тебя — уже». Но и в 1990-е мы, кажется, по разу навестили друг друга, хотя у каждого была теперь своя деятельность и оба были сильно ею заняты, так как жизнь слишком долго не способствовала наличию итогов. Однажды я уговаривал его написать побольше об Эпиктете для тома, посвященного «Энхиридиону» Эпиктета, и поманил его обогащением не только сведений, но и кошелька; Я. В., хоть и не стал богачом в новых условиях, отвечал: «Я сам готов кому-нибудь за это заплатить».

Как-то уже в 2000-е раздался телефонный звонок: Я. В. был в Петербурге с семьей. Я рад был его слышать и звал зайти ко мне всех вместе, но когда он сказал, что не может, потому что передвигается с трудом, отложил встречу до другого раза. Не знаю теперь, прав ли я, что стал взвешивать, а не поехал повидаться, не вдаваясь в рассуждения. Теперь, боюсь, придется подождать следующего *испламенения*, ἐκπύρωσις, когда мир погибнет в огне, чтобы все повторилось наново (Марк Аврелий V, 13).

Яан Унт оставил своему отечеству труды, которые ощутимо обогащают золотой запас эстонской культуры. Он оставил учеников, которые помнят его и, наверно, продолжают им начатое. Приятно думать, что 2011 г. — последний, пережитой им целиком, — был признан в Европейском союзе годом Эстонии, а Таллин объявлен «культурной столицей Европы» этого года. Ведь это то самое достижение, которому он, не ведая таимого судьбой синхронизма, готов был служить, влагая свой обол в общее дело, он, предугаданный гуманистом-учителем *видный деятель эстонской культуры*, — αὐτάρκείστατος, хорошо запомнившийся и у нас.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Марк Аврелий Антонин*. Размышления / пер. и прим. А. К. Гаврилова; статьи А. И. Доватура, А. К. Гаврилова, Я. Унта; комм. Я. Унта. (Серия «Литературные памятники»). Л.: Наука, 1985. 2-е изд, испр. и доп.: СПб.: Наука, 1993. 256 с.
2. *Чирсков Ф.* Маленький городок на окраине Вселенной: Роман. Рассказ. Стихи / сост. А. Арьев. М.: Звезда, 2007. 264 с.
3. *Фрейденберг О. М.* Въезд в Иерусалим на осле (Из евангельской мифологии) // Миф и литература древности / сост., подг. текста, коммент. и послесл. Н. В. Брагинской. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1978. С. 491–531.
4. *Gavrilov A.* ‘Laudatio Isidor Levin’, in: *Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Jahrbuch*. 2004. S. 51–55. = ‘Исидор Левин и народоведение’ // А. К. Гаврилов. О филологах и филологии / пер. С. А. Гавриловой. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2010. С. 336–340 (русс.).
5. *Marcus Aurelius*. Iseendale. Tõlk Jaan Unt. Tallinn, 1983.
6. *Päll J.* In memoriam Jaan Unt (7.11.1947–12.01.2012) // *Keel ja Kirjandus*. 2012. № 2. С. 157–159.
7. *Schmid G.* Das Professoren-Institut in Dorpat. 1827–1838 // *Russische Revue*. 1881. Heft 8. S. 136–166.
8. *Tamm E., Tankler H.* Klassische Philologen an der Universität Tartu (Dorpat, Jurjew) und ihre Kontakte zu St. Petersburg’ // *Hyperboreus*. 2004. 1–2, F. 1–2. S. 22–59.

REFERENCES

1. Mark Avrelii Antonin. *Razmyshleniia* [Meditations], per. i prim. A.K. Gavrilova; stat’i A.I. Dovatura, A.K. Gavrilova, Jaana Unta; komm. Jaana Unta. (Seriiia «Literaturnye pamiatniki») [transl. and notes by A.K. Gavrilov; articles by A.I. Dovatur, A.K. Gavrilov; Jaan Unt. Literary Masterpieces Series]. Leningrad: Nauka Publ., 1985; 2-e izd, ispr. i dop.: Saint Petersburg: Nauka Publ., 1993. 256 s.
2. Chirskov F. Malen’kii gorodok na okraine Vselennoi: Roman. Rasskaz. Stikhi [A Small Town on the Outskirts of the Universe: Novel. Story. Poems], sost. A. Ar’ev [compiled by A. Arieiev]. Moscow, Zvezda Publ., 2007. 264 s.
3. Freidenberg O.M. *V’ezd v Ierusalim na osle (Iz evangel’skoi mifologii)* [The Entry of Our Lord into Jerusalem on the donkey: From evangelical mythology]. *Mif i literatura drevnosti* [Myths and Ancient Literature], sost., podg. teksta, komment. i poslesl. N.V. Braginskoi [compiled and

prepared, notes and afterword by N.V. Braginskaya]. Moscow, RAN, Vostochnaia literatura Publ., 1998. C. 491–531.

4. Gavrilov A. 'Laudatio Isidor Levin', in: Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Jahrbuch. 2004. S. 51–55. = 'Isidor Levin i narodovedenie'. A.K. Gavrilov. O filologakh i filologii [About Philologists and Philology], per. S.A. Gavrilovoi [transl. by S.A. Gavrilova]. SPb., SPbGU Publ., 2010. S. 336–340 (russ.).
5. Marcus Aurelius. *Iseendale*. Tõlk Jaan Unt. Tallinn, 1983. 280 p.
6. Päll J. In memoriam Jaan Unt (7.11.1947–12.01.2012). *Keel ja Kirjandus*. 2012. № 2. S. 157–159.
7. Schmid G. Das Professoren-Institut in Dorpat. 1827–1838. *Russische Revue*. 1881. Heft 8. S. 136–166.
8. Tamm E., Tankler H. Klassische Philologen an der Universität Tartu (Dorpat, Jurjew) und ihre Kontakte zu St. Petersburg'. *Hyperboreus*. 2004. 1–2, F. 1–2. S. 22–59.

Гаврилов Александр Константинович

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник
Санкт-Петербургского Института Истории РАН.

Aleksandr Gavrilov

PhD in History (doktor nauk), Lead Researcher
at St. Petersburg Institute of History of the Russian Academy of Sciences.
E-mail: polivan@bibliotheca-classica.org